



## Часть первая

### ПАРИЖ

#### I

«Пожалуй, пора и раздаться шагам в коридоре», — подумал Бернар. Он поднял голову и насторожился. Нет, тихо: отец и старший брат задерживаются в суде; мать ушла в гости; сестра — на концерте; младший брат, маленький Калу, каждый день после лица должен отсиживаться в пансионе. Бернар Профитандье сидел дома и зубрил к выпускному экзамену: до него оставалось всего три недели. Семья оберегала его одиночество; дьявол действовал иначе. Хотя Бернар снял куртку, он задыхался. Через распахнутое на улицу окно в комнату вливалась духота. Лоб у него покрылся испариной. Капля пота скатилась по носу и упала на письмо, которое он держал в руке.

«Словно слеза, — подумалось ему. — Но лучше пот, чем слезы».

Да, дата неоспорима. Сомнений быть не может: речь шла о нем, Бернаре. Письмо было адресовано матери; старое, семнадцатилетней давности, любовное письмо, без подписи.

«Что означает этот инициал? V, но его можно принять и за N... Прилично ли спросить мать? Ладно, доверимся ее хорошему вкусу. Я волен воображать, что он был принц. Но хорошенькое дельце, если выяснится, что я сын нищего! Незнание того, кто твой отец,

излечивает от опасности быть на него похожим. Всякий розыск обяывает. Воспользуемся пока той свободой, какую он мне дает. Глубже копать не станем. На сегодня хватит».

Бернар сложил письмо. Оно было того же формата, что и дюжина других писем в пачке. Письма перевязывала розовая ленточка; ему не надо было ее развязывать, достаточно слегка передвинуть ленту, чтобы она, как прежде, опоясала всю пачку. Он положил письма обратно в шкатулку, а шкатулку — в выдвижной ящик подзеркального столика. Ящик не был открыт; Бернар обнаружил его секрет сверху. Он водворил на место разобранные деревянные пластинки его верхней части, которую должна была прикрыть тяжелая ониксовая плита. Мягко, осторожно он опустил плиту и снова поставил на нее два хрустальных канделябра и громоздкие часы, над починкою которых только что ради забавы возился.

Часы пробили четыре. Он кончил свою работу вовремя.

«Господин следователь и господин адвокат, сын его, возвратятся не раньше шести. У меня есть время. Нужно, чтобы господин следователь, придя домой, нашел у себя на письменном столе дельно составленное письмо, где я объявлю ему о моем уходе. Но прежде чем его написать, мне совершенно необходимо хоть немного проветрить свои мысли и разыскать моего дорогого Оливье, чтобы обеспечить себе временное пристанище. Оливье, друг мой, пришло время для меня подвергнуть испытанию твою любезность, а для тебя — показать мне, чего ты стоишь. Наша дружба была прекрасна тем, что до сих пор нам ни разу не приходилось оказывать друг другу услуги. Ба! Не так уже тягостно будет просить об оказании пустяковой услуги. Досадно, что Оливье будет не один. Ну что ж!

Я найду предлог отвести его в сторону. Я хочу испугать его своим спокойствием. Необычайное — вот сфера, в которой я чувствую себя как рыба в воде».

Т-ская улица, где жил до сего дня Бернар Профитандье, совсем близко от Люксембургского сада. Там, у фонтана Медичи, на аллее, выходящей к нему, встречались обыкновенно каждую среду, от четырех до шести, некоторые из его товарищей. Говорили об искусстве, философии, спорте, политике и литературе.

Бернар шел очень быстро, но, войдя в ворота сада, заметил Оливье Молинье и тотчас же замедлил шаг.

Собрание в этот день было более многолюдным, чем обычно, несомненно, по случаю хорошей погоды. Явились и кое-какие новички, Бернару незнакомые. Каждый из этих молодых людей, едва оказавшись на публике, начинал ломать комедию и вести себя как-то вымученно.

Завидев приближающегося Бернара, Оливье покраснел, довольно грубо оставил молодую женщину, с которой беседовал, и удалился. Бернар был его самым близким другом, и потому Оливье старательно следил, чтобы не возникало впечатления, будто он добивается его общества; иногда Оливье даже притворялся, что в упор не замечает Бернара.

Прежде чем подойти к Оливье, Бернар должен был миновать несколько группок, а раз он тоже прикидывался, будто Оливье ему не нужен, то прохаживался не спеша.

Четверо парней окружали невысокого бородача в пенсне — выглядел он намного старше их всех, — державшего в руке книгу. Это был Дюрмер.

— Ничего не поделаешь, — вещал он, обращаясь к одному из школьников, явно польщенный тем, что все его слушают. — Дошел до тридцатой страницы, но не нашел ни одной запоминающейся краски, ни еди-

ного слова, которое рисовало бы картину. Автор пишет о женщине, но мне так и неизвестно, красное на ней было платье или синее. Ну а по мне, если я не вижу красок, право же, в книге нет ничего. — Чувствуя, что его слова почти не принимаются всерьез, он поэтому ощущал еще большую потребность в преувеличениях и повторял: — Ничего, абсолютно ничего.

Бернар перестал слушать красная; он считал невежливым уйти сразу же, хотя уже прислушивался к спорившим у него за спиной голосам другой группы, той самой, к которой подошел Оливье, когда оставил молодую женщину; один из спорщиков сидел на скамейке и читал «Аксьон франсез».

Каким серьезным выглядит среди них Оливье Молинье! Хотя и почти моложе всех. Его совсем еще детское лицо и взгляд обнаруживают раннюю зрелость мысли. Он легко краснеет, нежен. Как ни старается он быть со всеми приветливым, какая-то неведомая тайная сдержанность, некая стыдливость удерживают товарищей от фамильярности с ним. От этого он страдает. Без Бернара страдал бы сильнее.

Молинье, как и Бернар, на мгновение задерживался у той или другой группы; он делал это из вежливости: ничто в этих спорах его не интересовало.

Он склонился над плечом читавшего. Бернар, не оборачиваясь, услышал, как он говорил:

— Зря ты читаешь газеты, от них только голова болит.

Читавший резко ответил:

— А ты зеленеешь от злости, как слышишь о Моррасе.

Третий насмешливо спросил:

— Тебе доставляют удовольствие статьи Морраса?

Первый ответил:

— Мне плевать на них, но я считаю, что Моррас прав.

Затем вмешался четвертый, чей голос Бернар не узнал:

— Если вещь не нагоняет скуки, ты считаешь, что ей не хватает глубины.

Первый возражает на это:

— А по-твоему, стоит написать глупость — и выйдет занимательно.

— Поди сюда, — шепотом сказал Бернар, резко схватив Оливье под руку. Он отвел его на несколько шагов. — Отвечай живо, я тороплюсь. Ты мне как-то говорил, что спишь не на том этаже, где родители?

— Я тебе показывал дверь моей комнаты; она выходит прямо на лестницу, полуэтажом ниже их квартиры.

— Ты говорил, что вместе с тобою спит брат?

— Да, Жорж.

— Вы там одни?

— Да.

— Малыш умеет держать язык за зубами?

— Если нужно. Почему ты спрашиваешь?

— Слушай. Я ушел из дому или, во всяком случае, собираюсь уйти сегодня вечером. Не знаю еще, куда денусь. Можешь приютить меня на ночь?

Оливье сильно побледнел. Волнение его было так велико, что он не мог смотреть на Бернара.

— Да, — сказал он, — но приходи не раньше одиннадцати. Каждый вечер мама спускается пожелать нам доброй ночи и запереть дверь на ключ.

— Ну и как быть?

Оливье улыбнулся:

— У меня есть другой ключ. Постучи тихонько, чтобы не разбудить Жоржа, если он уснет.

— Консьерж меня пропустит?

— Я предупрежу его. Да у меня с ним прекрасные отношения. Это он дал мне второй ключ. До скорого!

Они расстались, не пожав руки друг другу. И когда Бернар удалялся, обдумывая письмо, которое собирался написать, — следователь должен будет найти его у себя на столе по возвращении домой, — Оливье, не желавший, чтобы его видели только наедине с Бернаром, стал разыскивать Люсьена Беркая, которым товарищи слегка пренебрегали. Оливье подружился бы с Люсьеном, если бы не предпочитал ему Бернара. Насколько Бернар предприимчив, настолько Люсьен робок. Чувствуется, что слабый мальчик; кажется, будто он живет только сердцем и умом. Он редко осмеливается выступить вперед, но безумно радуется всякий раз, как видит, что Оливье подходит к нему. Каждый из его товарищей догадывается, что Люсьен пишет стихи; однако, я уверен, Оливье — единственный, кому Люсьен открывает свои планы. Они отошли к краю террасы.

— Мне очень хотелось бы, — говорил Люсьен, — рассказать историю не лица, но места, например, вот этой аллеи, рассказать, что происходит на ней в течение дня, с утра до вечера. Прежде всего на ней появляются няньки с детьми, кормилицы в лентах... Нет, нет... сначала совсем седые люди, без пола и возраста, подметают аллею, поливают траву, пересаживают цветы, словом, готовят сцену и декорации к открытию ворот, понимаешь? Затем — явление кормилиц. Карапузы лепят из песка пирожные, дерутся, няньки отпускают им пощечины. Потом выход младших классов школ — и вслед за ними работниц. Бедняки приходят позавтракать на скамейке. Позднее — люди, разыскивающие друг друга или убегающие друг от друга; те, кто жаждет одиночества, — мечтатели. А потом толпа — в час музыки и выхода из магазинов. Школьники, как вот теперь. Вечером — влюбленные: одни целуются, другие расстаются со слезами. Наконец, когда уже совсем темнеет, чета стариков... И вдруг дробь барабана: закрывают. Все

выходят. Пьеса окончена. Понимаешь, что-нибудь такое, что давало бы впечатление конца всего, смерти... понятно, так, чтобы не было речи о смерти.

— Да, я представляю это очень ясно, — сказал Оливье, который думал о Бернаре и не слышал ни одного слова.

— И это не все, не все! — с жаром продолжал Люсьен. — Мне хотелось бы в своего рода эпилоге показать эту самую аллею ночью, когда все разошлись, показать, как она пустынна и еще прекраснее, чем днем: царит тишина, в которой слышнее звуки природы, шум фонтана, ветра в листве и пение ночной птицы. Я думал сначала заставить блуждать по аллее тени, может быть, оживить статуи... но, мне кажется, так получилось бы банальнее. Что ты скажешь об этом?

— Нет, не надо статуй, не надо, — рассеянно запротестовал Оливье, потом, заметив печальный взгляд собеседника, с жаром воскликнул:

— Ну ладно, старина, если тебе это удастся, будет потрясающе!

## II

В письмах Пуссена нет даже намека на какие-либо обязанности по отношению к родителям. Никогда он не выражал сожаления, что разлучился с ними. Добровольно переселившись в Рим, он потерял желание возвратиться на родину, можно даже сказать — всякое о ней воспоминание.

*Поль Дежарден. Пуссен*

Господин Профитандье спешил домой и находил, что его коллега Молинье, провожавший его по бульвару Сен-Жермен, не слишком торопится. У Альберика



Профитандье сегодня выдался особенно хлопотный день в суде; его беспокоило ощущение какой-то тяжести в правом боку: усталость сказывалась на печени, которая начинала сдавать. Он думал о ванне, которую скоро примет; ничто так не успокаивало его после дневных забот, как хорошая ванна; в предвкушении ее он сегодня не позавтракал, считая, что неблагоприятно входить в воду, хотя бы даже теплую, с наполненным желудком. Конечно, это может быть только предрассудок, но предрассудки — устои цивилизации.

Оскар Молинье ускорял шаги как только мог и прилагал все усилия, чтобы поспевать за Профитандье, но он был гораздо ниже ростом и мышцы его ног не были так развиты; кроме того, он страдал некоторым ожирением сердца и легко задыхался. Профитандье, еще крепкий мужчина пятидесяти пяти лет, с впалой грудью и быстрой походкой, охотно покинул бы его, но он был очень щепетилен по части приличий: коллега старше его, выше чином — ему следует оказывать уважение. Кроме того, ему нельзя было дать почувствовать Молинье, что он богат, — а после смерти родителей жены богатство его было значительно, — тогда как все доходы господина Молинье ограничивались жалованьем председателя палаты, жалованьем ничтожным и совершенно не соответствующим высокому положению, которое он занимал с весьма большим достоинством, прикрывая им свою бездарность. Профитандье старался не выдать своего нетерпения; он обернулся к Молинье и увидел, как тот вытирает лоб; впрочем, его очень интересовало то, что говорил ему Молинье, но точки зрения у них были различные, и спор становился жарким.

— Устраивайте наблюдение за домом, — говорил Молинье. — Собирайте показания консьержа и лживой служанки, все это прекрасно. Но помните, что

стоит вам только немножко переусердствовать в расследовании, и дело у вас сорвется... Я хочу сказать, что вы рискуете зайти гораздо дальше, чем предполагали сначала.

— Вся эта щепетильность не имеет никакого отношения к правосудию.

— Верно ли, верно ли это, мой друг? Мы с вами знаем, чем должно являться правосудие и чем оно является. Мы стараемся изо всех сил, само собой разумеется, но, как мы ни стараемся, мы достигаем лишь весьма приблизительных результатов. Дело, которое занимает вас сегодня, особенно щекотливо: из пятнадцати обвиняемых или тех, которые по одному вашему слову могут завтра стать обвиняемыми, девять несовершеннолетних. И вы знаете, что некоторые из этих юнцов — сыновья очень почтенных родителей. Вот почему при таких обстоятельствах я считаю каждый приказ об аресте огромным промахом. Газеты разных партий будут в курсе дела, и вы открываете дверь для любого шантажа, любой диффамации. Все ваши усилия будут тщетны: несмотря на всю вашу осторожность, вы не помешаете тому, что будут названы имена... Я не вправе давать вам советы, и вы знаете, насколько охотнее я выслушал бы их от вас, ибо всегда признавал и ценил возвышенность ваших взглядов, ясность ваших мыслей, вашу прямоту... Вот как я стал бы действовать на вашем месте: я попытался бы найти средство положить конец этому отвратительному скандалу, захватив трех или четырех зачинщиков... Да, я знаю, что захватить их трудно, но, черт побери, это наша профессия. Я добился бы закрытия помещения, где совершаются эти оргии, позаботился бы о предупреждении родителей юных безобразников и устроил бы все это осторожно, без шума, лишь бы только предотвратить возможность рецидивов. Ну,

посадите в тюрьму женщин, я охотно предоставляю это вам; мне кажется, что мы имеем здесь дело с несколькими вконец развращенными тварями, от которых необходимо очистить общество. Но, повторяю еще раз, не хватайте детей; попугайте их — этого будет довольно, затем подведите их поступки под формулировку «действовал без разумения», и пусть они на долгое время остаются изумленными тем, что отделались только испугом. Вспомните, что троим из них нет еще четырнадцати и что родители, наверное, считают их ангелами чистоты и невинности. И в самом деле, дорогой друг, говоря между нами, разве в этом возрасте мы помышляли о женщинах?

Он остановился, больше запыхавшись от своего красноречия, чем от ходьбы, и заставил остановиться также Профитандье, которого держал за рукав.

— А если мы и мечтали о женщинах, — продолжал он, — то идеально, мистически, религиозно, если можно так выразиться. Теперешние дети, увы, не имеют больше идеалов... Кстати, как поживают ваши? Понятно, все сказанное мной к ним не относится. Я знаю, что при вашем присмотре за ними и воспитании, которое вы им дали, нет оснований опасаться, что они пойдут по дурной дорожке.

Действительно, Профитандье до сих пор мог лишь гордиться своими сыновьями, но он не строит иллюзий: лучшее воспитание в мире не в силах сломить дурных инстинктов, без сомнения, их нет и у детей Молинье; поэтому они сами избегают дурных знакомств и не читают дурных книг. В самом деле, какая польза запрещать то, что предотвратить невозможно? Запрещенные книги мальчик читает украдкой. Система Профитандье гораздо проще: он не запрещает читать дурные книги, но устраивает так, что его дети не чувствуют ни малейшего желания их читать. Что же касается дела, о кото-

ром идет речь, то о нем он еще подумает и, во всяком случае, обещает ничего не предпринимать, не посоветовавшись с Молинье. Пока будет просто продолжаться негласное наблюдение, и так как зло существует уже три месяца, то можно потерпеть его еще несколько дней или недель. К тому же наступающие каникулы, наверное, положат конец сборищам преступников. До свидания.

Профитандье смог наконец ускорить шаг.

Придя домой, он сейчас же побежал в туалетную и открыл краны ванны. Антуан подждал возвращения барина и устроил так, чтобы столкнуться с ним в коридоре.

Этот верный слуга жил в доме уже пятнадцать лет; дети выросли на его глазах. Он мог наблюдать множество вещей, о множестве других подозревал, но делал вид, что не замечает того, что желали от него скрыть. Бернар сохранил свою детскую привязанность к Антуану. Он не хотел уходить из дому, не попрощавшись с ним. И может быть, благодаря раздражению против семьи он находил удовольствие в том, чтобы посвятить простого слугу в тайну своего ухода, о которой его близкие ничего не узнают; в оправдание Бернара нужно сказать, что никого из родных в тот момент дома не было. К тому же Бернар не мог бы проститься с ними так, чтобы они не попытались его удержать. Он страшился объяснений. Антуану он мог сказать просто: «Я ухожу». Но, говоря это, он так торжественно протянул ему руку, что старый слуга удивился:

— Господин Бернар не возвратится к обеду?

— Он даже не придет и ночевать, Антуан. — И так как последний стоял в замешательстве, не зная хорошенько, как ему следует понимать слова Бернара и вправе ли он задавать ему вопросы, то Бернар еще раз многозначительно произнес: — Я ухожу. — Затем при-